

Леонид БРОНЕВОЙ, артист:

Я совсем не похож на тех, кого играл

Леонид БРОНЕВОЙ может все — спеть по-украински, поговорить по-узбекски, сыграть на рояле, отстучать пальцами на столе самый замысловатый ритм, вывести голосом скрипичный концерт Вивальди. Но употреблять по отношению к нему слово «лицедей», так казалось бы идущее его легкому таланту, можно лишь до той поры, пока не познакомишься с ним лично. Тут сразу же выясняется, что свой «легкий» талант он воспринимает как тяжелую ношу. Он несет его как крест. Те, кто видел его только в театре или кино, могут сами решать, много ли в Броневом от Мюллера, Велюрова или Крутицкого. Те, кто знает его лично, не могут не заметить его сходства с Альцестом, героем знаменитой пьесы Мольера «Мизантроп», бесконечно требовательным к себе и придирчивым к окружающим. Среди коллег он слывет человеком со сложным характером. Правильнее назвать его человеком со сложной судьбой. Завтра Леониду Броневому — 75. Накануне юбилея он дал интервью Марине ДАВЫДОВОЙ.

— Послушайте, разве можно в таком возрасте устраивать дни рождения? Это же смешно. Алексей Герман сказал, что в 30 останавливаться надо. Пусть Сергей Безруков празднует. А мне куда! Так ведь нет. Только и слышишь отовсюду: дайте интервью, дайте интервью...

— Я сейчас все объясню. С вами случилась страшная вещь. Дело в том, что вы ньюсмейкер.

— Это еще что такое?

— Это газетный сленг. Это значит, что ваша жизнь интересна широкому кругу людей.

— Но я же не Пугачева, не Киркоров, не Галкин. Мне совершенно не нужна вся эта звездная круговерть.

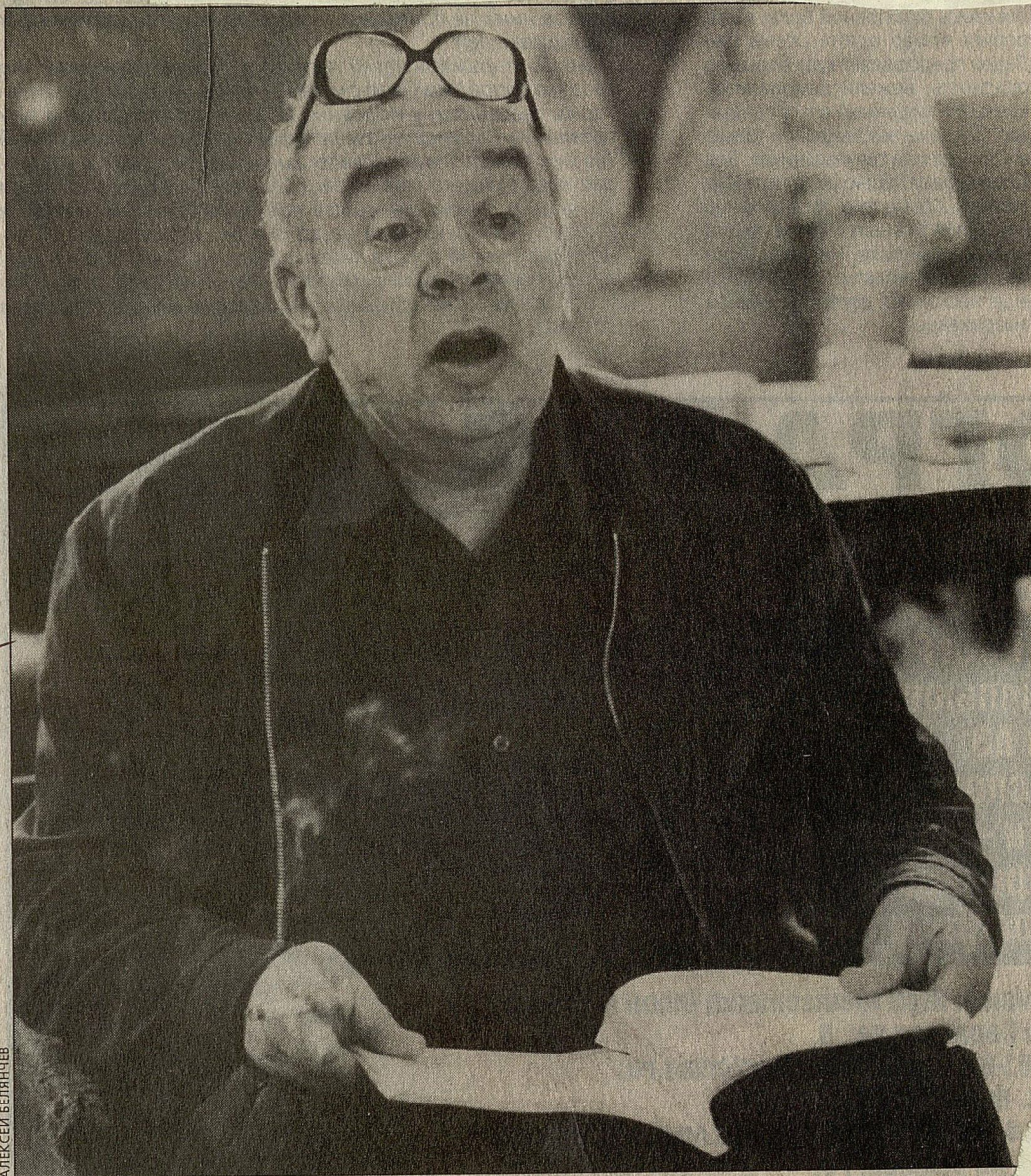
— Как же вы с таким отношением к мирской славе продолжаете быть артистом?

Известия 2003-10-24 - с. 112
Это ведь очень суетная профессия.

— Она не только суетная. Она не мужская. Не может перед мужчиной стоять задача — все время нравиться. К тому же это очень зависимая профессия: зависишь от зрителей, от авторов, от режиссеров, от партнеров, от пожарных. Никогда нельзя добиться конечного результата. А если его добился — нельзя зафиксировать. Вот в спорте можно. Был когда-то чернокожий бегун, пробежавший стометровку за 9,8 секунды. Некоторые говорили: ветер дул в спину и все такое. Но никто пока не переплюнул. И это было зафиксировано. А у нас все субъективно. Вы любите Пикассо, а я, скажем, нет. Где критерий?

(Окончание на 12-й стр.)

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯНЦЕВ



Леонид БРОНЕВОЙ, артист:

Я совсем не похож на тех, кого играл

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Критерий — то ладно. Художник в конце концов может рисовать то, что ему хочется, не особенно задумываясь о сиюминутном успехе. А артист должен задумываться над этим изо дня в день. Если современники не поймут, помолки точно не оценят. И в этом первородный грех в актерской профессии.

— Но менять-то ее поздно. Вы знаете, сколько мне лет?

Узбекский язык и так и не выучил

— Вы, если я не ошибаюсь, пытались стать юристом, а не актером?

— Жизнь родителей — а соответственно и моя — сложилась так, что при советской власти я никем другим и не мог стать. Отец работал в органах. Получил в 1937-м десять лет. Правда, с правом переписки. Не расстреляли то есть. Я закончил шестилетку в Кieve. Потом 2 класса при Киевской консерватории по классу скрипки. Там было две противоборствующие школы — профессора Бертые и профессора Магазинера. О, это были незаурядные личности! Потом в ссылке, где мы оказались после ареста отца, сдал за год программу 7-го, 8-го, 9-го классов экстерном. Получил аттестат зрелости и говорю маме: «Я пойду в летнее училище. А если не возьмут, то пойду в дипломаты или в артисты». Тогда она положила передо мной анкеты для поступающих (они были огромные, многостраничные) и говорит: «Ты все не читай, прочитай только эту графу». И я читаю: «Находились ли вы или ваши ближайшие родственники в заключении или на оккупированных территориях?». «Ты что-нибудь понял?» — это мать спрашивает. «Понял. Мы не находились ни в заключении, ни на оккупированной территории, а Сталин недоволен, что сын за отца не отвечает». «Ты такой же дурак, как и твой отец», — сказала мать. — Это клеимо будет лежать на тебе до конца дней. Я выяснила, что тебя, может быть, примут в театральный институт. Там с анкетами легче. И не в Москве, туда тебе нельзя на пушечный выстрел приближаться, а в Ташкенте». Вот я и поехал в Ташкент и поступил в театральный институт. Там были очень хорошие преподаватели — Инна Вишневская, Костя Березин, профессор Григорьев, профессор Мокульский.

— Это, я так понимаю, был ГИТИС в эвакуации?

— Ну да. А кроме того, Ташкентским драматическим театром руководил тогда Александр Иосифович Гинзбург (он троюродный брат Александра Галича, а это недавно узнал). Его «Отелло» я посмотрел, наверное, раз 20. Там играли три величайших узбекских актера, с которыми не сравнится никакой Голливуд. Отелло — Абдор Хидаятов, Яго — Шукур Бурханов, Дездемона — Сара Ишпитураева. На узбекском языке играли, но все понятно. Воздействие необычайное. Это был второй мой институт. Неформальный. Жизнь была голодной, поэтому я учился и работал. Стал переводить стихи узбекских поэтов.

— Вы что, знаете узбекский?

— Нет, откуда. По русскому подстрочнику. Ночами сидел, штук 50 перевел. На хорошем уровне было одно или два.

— Вы про хороший уровень перевода?

— Поэзии, поэзии. Потом я устроился диктором в Ташкентский радиокомитет. В 6 часов утра мы открывали эфир: я и мой приятель — молодой узбек. Он читал по-узбекски, а я по-русски. От себя рубильничек — ты уже в эфире, на себя —

можно кашлянуть. Первое время ужасно пугался. И вот однажды приятель не пришел. Ко мне вбегает начальник и говорит: «Ты можешь по-узбекски начать передачу?» Я говорю: «Не знаю, мне надо потренироваться». «Некогда тренироваться, через 3 минуты эфир. Давай — поехали». До сих пор я помню то, что произнес. (Очень бойко и с выражением говорит по-узбекски).

— Здорово!

— Вот именно. Узбекский язык, как и многие восточные языки, очень красивый. Только послушайте: чемадан по-узбекски — чемадон. Во множественном числе — чемадонлар. Если падеж какой-то — чемадонларнин. Если что-то еще — чемадонларнингиз. А еще бывает — чемадонларнингизир. Это же прелесть. Хотя узбекский надо было выучить, дураку. А то я никаких языков не знаю.

Потом работал в закуской. Там старичок-скрипач был и пианистка, а меня взяли с аккордеоном. Там я выучил все военные песни, все песни Вертинского, Лещенко и Козина, все воровские и бандитские песни, потому что я не только играл, но еще и пел — с семи вечера до двух ночи. Каждый день в этой закусочной была драка, а примерно через день кого-то убивали. Туда приходили фронтовики с орденами, кто без руки, кто без ноги. Такие лица! Старик-скрипач хотел брать с них деньги, а пианистка сказала: «Вы что, с ума сошли? Они же с фронта». И мы с них денег не брали. Отдельно всегда сидела другая компания. Тоже довольно интеллигентная — воры в законе. Платили огромные деньги старичку и вели себя очень прилично. Эти заказывали Козина, Лещенко, Вертинского. Но иногда бывала и третья компания — отмороженное хулиганье. Они наматывали тридцатник красного цвета на вилку или на нож и метал их на сцену. Только знай уворачивайся! Это так они заказывали. «Мурку!» — орет. Как-то раз это хулиганье сцепилось с фронтовиками. И вы знаете, фронтовики им здорово нахидили. Через пару дней пришел один молодой красивый человек в сером костюме. У него был такой значок — три карты: тройка, семерка, туз. Я спрашиваю: кто это такой? Мне говорят: это самый главный вор-рецидивист, авторитет, его все боятся. Он может легко убить человека. Убить — и проити мимо. Такого ведь мало кто может. Он что-то сказал хулиганью и ушел. С тех пор они никогда не трогали фронтовиков. Никогда. А старичок нас с пианисткой надувал: брал 50% себе, а 50% отдавал нам. Как-то раз мы устроили забастовку. Пианистка говорит: «Как вы можете! Леня поет за вечер десятки песен, вы должны платить нам больше». В результате выбрали себе 60%.

— Так вы были богатым человеком по тем временам?

— Что вы, совсем нет. Самое острое воспоминание моей жизни — физиологическое. В перерыве между лекциями выходили во двор института, а на втором этаже жил директор. Его жена варила в это время бульон с курицей, и мы, как собачки, ходили и вдыхали, вдыхали этот запах.

Я был похож на Сталина больше самого Сталина

— Меня всегда почему-то не любили театроведы. Особенно когда я работал у Анатолия Эфроса. Если вы откроете рецензии тех лет, то увидите, что меня или пинают, или, что еще страшнее, не замечают вовсе. Это подобно удару ниже пояса. Словно бы тебя и нет. Вот недавно вышла статья в журнале «Признание». Вы знаете такой?

— Нет.

— Очень красивый журнал. И там театровед Фирстова некая на-

писала статью обо мне. Стаким пиететом. Я даже ей позвонил и сказал, что ничего подобного никогда о себе не читал. Обо мне никогда не писали так тепло, даже восторженно. Вы уж укажите ее фамилию — Фирстова. Остальные ругали.

— Может быть, вам это просто мерещилось?

— Неужели я буду вам врать в 75 лет? Вот зритель — да. Зритель меня принимал всегда чудесно. Любый зритель — солдатский зал, колхозный, интеллигентский.

— В чем же причина?

— Может, это идет от самого большого критика, с которым я как-то не так поздоровался.

— Вряд ли. Думаю, вы просто немного выбивались из общего эфросовского строя. Вы артист совсем иного толка, с более острым рисунком. Есть в вас что-то такое кафешантанное. Вы всегда находили общий язык с Эфросом?

— Творческие отношения были нормальные. Он меня уважал как актера, а я перед ним преклонялся. А вот человечески была несовместимость. Такое же случается. Не зря космонавты подбирают по совместимости. Но на репетициях с ним было потрясающе. Я научился у него одной очень важной вещи. Самое трудное в жизни, особенно в жизни актера, — самоограничение. Не вылезать на передний план, даже если ты очень яркий. Можно играть Отелло и так надоесть зрителю, что он только и будет думать, когда же ты уйдешь со сцены. А можно играть маленькую роль и создать образ. Я так Дорна стараюсь в захаровской «Чайке» играть. Тихо, без напора, на нюансах. Это такое наслаждение. В молодости я этого не понимал. Я играл романтические роли — Теодора в «Собаке на сене». Или в спектакле «Вей, ветерок» — она умилает, я ее на руки, лодка плывет. Еще Мересьева играл, Ленина, Сталина.

— Ленина? Сталина? Как на вас счастье такое свалилось?

— Не знаю. Не знаю. Никогда не был членом КПСС. Никогда не аклся с КГБ. Вы только подумайте. Дядьку, родного брата отца, — он был замнаркомом внутренних дел Украины, носил три ромба (это сегодня генерал-полковник) — застрелили в кабинете. Он основал проституцию ВЧК с Дзержинским, воевал в Первой конной, дал деньги от НКВД на создание колонии Макаренко. Отца арестовали. Нас с мамой сослали. Примем отец пошел, уже выйдя на свободу, очень гордился, что ему вернули орден Красной Звезды. Посмотри, говорил, у меня 36-й порядковый номер, а у Орджоникидзе — 37-й. Так и остался фанатиком. Я с ним жутко ругался. И вот после всего этого я играю вождя революции.

— Вождь был еще жив?

— Нет. Дело было в 1955 году, в Грозном. Сталин уже умер, но спализм еще нет. На Сталина я вообще, как видите, не очень похож, но у меня был такой грим... Я был лучше всех Сталиных. Я когда первый раз вышел на сцену — вдруг пушечный выстрел. Я решил: что-то взорвалось. Оказывается, просто все встало — там деревянные сиденья, и они хлопнули. Овадия не прекращается. Потом они сели — опять грохот. И тишина. С Лениным я говорил свысока. А он, наоборот, чуть ли не заискивающий. Как-то раз выхожу на сцену, и вдруг — полная тишина. Сыграну сцену, пришел в гримёрную. Прибежал помрех. Я ему говорю: «Дорогой, что со мной такое случилось, может, растегнулся у меня что-то?» Он говорит: «Господи, я забыл тебе предупредить. Есть закрытое письмо Хрущева о разоблачении культа личности. Это целевой спектакль. Его сейчас смотрит КГБ. Я тебя должен еще огорчить. Больше Сталина играть нельзя, но ты эту роль все равно играть будешь. Сними весь грим. Наденешь туфурку, пенсне, папку возьмешь. А Ленин скажет не «попросите Сталина», а «попросите референта». И с тем же текстом. И вот еще что. Не знаю, как сказать. Мы же были представлены к Сталинской премии...» «Ну и что?!» — «Накрылась!»



Киев. Леониду Броневому два года

— Ужас!

— Ленина играл позже, в Воронеж. В «Третьей патетической». Играл трагическую фигуру — Ленин все понял, но поздно. Уже был болен, ВКП(б) и соратники были против него, и он один своим решением ввел нэл. Я очень серьезно играл. Стремился к предельной естественности. Прием у зрителей был потрясающий. Меня даже представили к званию «Заслуженный артист», но я сбежал из Воронежа в Москву — в Школу-студию МХАТ. И мне все в театре говорили: «Ты что, с ума сошел? Зачем тебе второе образование? Ты уже Ленина играл. Но меня было не остановить.

Грибов заболелся обо мне, как нянька

— А в самом деле, почему вы решили поступать в Школу-студию?

— Посмотрел спектакль «На дне» с Грибовым. Я эмоциональный был и сразу же написал ему письмо, не ожидая, что он ответит. А он ответил: приезжайте в Москву. Приехал, стою с чемадончиком в Камергерском у входа в театр. Он выходит. Я говорю: Алексей Николаевич, здравствуйте, я Броневый, я вам писал. Он говорит: отлично, давай начинай читать. Я спрашиваю: что, прямо здесь? Он говорит: да, ты меня сейчас проводишь до дома и читай. И я начал читать финал «Тараса Бульбы». Сначала тихо, потом как заорю на всю улицу. Подошли к дому. «Ладно», — говорит, от язы же лудка очень помогает. На третий день прихожу. Смотрю: подъезжают — Массальский, Топорков, Блинные, еще кто-то. Радомысленный. А Грибов бегае, ну просто как нянька. Вызвали. Вхожу — сидят. Страшно ужасно. И я опять пошел «Бульбу» читать, но уже смячил немало. Я тогда на вокзале многое переосмыслил. Потом Топорков говорит Сарычевой: «Вроде бы у него какой-то украинский акцент? Вы же Качалов, перед тем как его Стани-

славский на роль Берендея утвердил, исправил южный акцент. Можете, поработаете и с ним!». Тут я не выдержал. Как Топоркова зовут, не знал, и говорю: «Уважаемый товарищ, в каких местах вы у меня обновили украинский акцент?». «В тех, где говорит от лица Тараса Бульбы». — «Но Гоголь же не написал, с каким акцентом говорить». В общем, поспорили. Сорок минут я потом сидел в коридоре, ждал отца. Наконец вылетает Грибов, радостный: «С тебя пол-литра, тебя все в театре говорили: «Ты что, с ума сошел? Зачем тебе второе образование? Ты уже Ленина играл. Но меня было не остановить.

Жил я в общежитии на Трифоновке, опять нищета. Грибов видел, как я тяжело живу. Как-то раз говорит: «Давай сделаем «Злоумышленника» Чехова на двоих. Ты — следователь, а я — тот, который гайки отвинчивал». Мы сделали и раза два в неделю играли по заводам. Я получал рублей 15. Вы шутите! Стипендия была 29 рублей. Меня за это одноклассники очень не полюбили.

— Вам никто не говорил, что вы немного похожи на Грибова? Не только внешне, но и актерски.

— Похож? Я, кстати, и Чебутики на репетировал в студии Художественного театра, это же его роль. Может быть, потому он так ко мне и отнесся.

Если бы я встретил Захарова 40 лет назад

— Больше всего я не хочу, чтобы казалось, что я жалею. Это интервью проклятые, все время идешь, как по жердочке, и кажется, что вот-вот свалишься в пропасть. Чуть вправо — ты упал туда, где хвостовство, чуть влево — туда, где жалобы.

— Но вы ведь не жаловались пока.

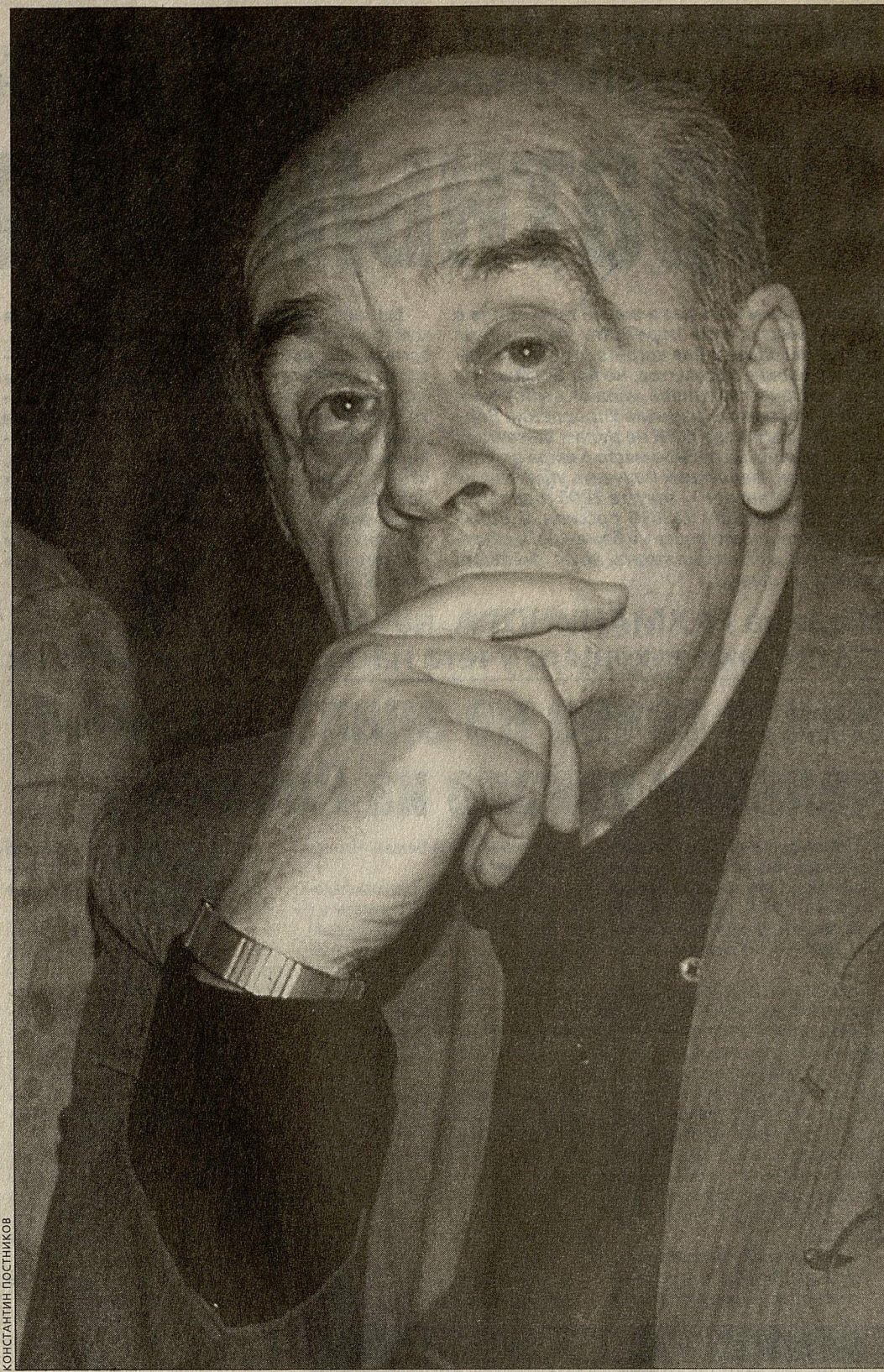
— Как же? А на критиков?

— А когда вы играли в спектаклях Захарова, вас ругали критики?

— Нет, никогда.

— Может быть, дело просто в том, что в эстетике Захарова вы пишесьетесь органичнее, чем в эстетике Эфроса? Может быть, вы с Захаровым нашли друг друга?

— Послушайте, а это мысли! Да, да, конечно. Вы знаете, между артистом и режиссером обычно анта-



КОНСТАНТИН ПОСТНИКОВ

гонизм. Это естественно. Но с Захаровым у меня впервые в жизни (хотя он человек очень непростой) сложились душевные отношения. Он еще хочет что-то сказать, а я уже все понял. Я что-то хочу предложить, а он уже все схватил. Но я его нашел только 16 лет назад. Почему не 40? Мы бы столько вместе сделали.

— Странно. Вы же жили в одном городе.

— Не знаю, почему. Не звал он меня раньше. А 16 лет назад позвал. Сам позвонил. К вашему сведению, никто сам не звонит, секретаршам поручают. Позвонил и говорит: «Я хочу пригласить вас на роль Крутицкого». Я отвечаю с прямой: «Марк Анатольевич, разве приглашает на роль Крутицкого? Приглашают на короля Лира, на Арбенина, на Отелло. А что такое Крутицкий?» Он говорит: «Приходите ко мне в театр, я вам объясню». И объяснил, что у Станиславский, и Плотников, и Лебедев играли неправильно. И сам Островский тоже ошибся. Если Крутицкий — маразматик и кретин, Брежнев в последние годы своей жизни, тогда зачем Глумов так хитрить? Нет, это человек большого интеллекта, которого даже его друзья-реакционеры выгнали из Генерального штаба. Это такая bestia, такая сволочь. Он изгнан, но все нити политические и экономические он в его руках — все свхвачено. Никому раньше в голову не приходило такую трактовку. Я фотографии Станиславского смотрел: полного идиота изображает. А Захаров глубоко все решил.

Мы «Мудреца» уже 15 лет играем. Интересно, как меняется реакция зрителей. Раньше, когда я произносил название своего сочинения «Трактат о вреде реформ вообще», зал, явно демократический, воспринимал это насмешливо. Теперь на этой же фразе — гром аплодисментов. То есть, я так понимаю, что зал за Крутицкого?

Я ненавижу свои глаза, свои руки, свое лицо

— Вы, судя по всему, идеалистичный человек. Тем не менее вам всегда удавались роли циников и мерзавцев.

Откуда вы все это в себе черпаете?

— В молодости я играл в карты, на бильярде, выпивал, гулял. Сейчас смотришь, такая огромная жизнь за тобой. Моя ли это жизнь? Я дал вам свое фото двухлетнего, вот примерно в таком возрасте я вылез как-то на балкон своего дома на Крещатику. На противоположной стороне начиналась улица Ленина, и к парадному 1 Мая туда съезжались машины. Косиор, Якир — все туда съезжались. Стоят войска, все замерли. И вдруг, смотрю, выстроили помост, и примерно 700 или 1000 детей маленьких стоят на нем с цветами. И маленькая девочка одна на вышке деревняной. Они поют. Я даже запомнил мелодию и слова. Она начинает: «Вчера была у Сталина. И вим мене признав. И ци чаривни квиточки мичи подаровав. У тих чаривних квиточек чаривна сила е. Бо це дарунок Сталина, що силу всим дае». И весь хор детский: «А-а! А-а!». Она: «Що силу всим дае!». Потом — она: «А-а! А-а!». Хор: «Що силу всим дае». А я между решетки смотрю и думаю, как же это прекрасно! Через какое-то время немножко подрос, и всех этих людей расстреляли. И я все пытался понять, как увязать эту девочку, ее пение чудесное и весь этот ужас. Я до сих пор увязать не могу. Просто первое — мое романтическое впечатление от жизни, от ее красоты, а второе — это настоящая жизнь.

Вы знаете, оттого что я все время получал роли негодяев, я буквально сходил с ума. Через много лет, уже после того, как я сыграл Мюллера, я приехал в Киев на два выступления. Нашел там свою музыкальную школу. Захожу — перемена, все бегает. И мне навстречу идет мой учитель Алексей Петрович. Ему лет 80 уже. Я его сразу узнал, а он меня нет. Я говорю: «Здравствуйте, я Леня Броневый». Он вспомнил меня, обрадовался: «Ленечка, господи, как хорошо, что ты приехал. Давай я соберу сейчас всех учеников с 1-го по 6-й класс по классу скрипки». И действительно собрал. Я вышел перед ними и говорю: «Ребята, вы меня знаете по этому фашисту проклятому, а я совсем не для того к вам пришел, чтобы рассказывать о нем и об этой своей ро-

ли. Я тут учился. Я окончил два класса. На скрипке я не могу уже играть. Вы же знаете, если даже день не занимаешься — то все. А я не держал ее в руках 30 лет. Но сейчас я сяду за рояль и голосом спою вам за скрипку первую часть Концерта Вивальди, которую я выучил во втором классе. А аккомпанемент — это, считайте, будет оркестр». Сел за рояль и спел им. Показать? (Долго и вдохновенно поет скрипичный концерт Вивальди). Что творилось с этими детьми! Они вцепились в меня. Повисли на мне... Вот была минута счастья.

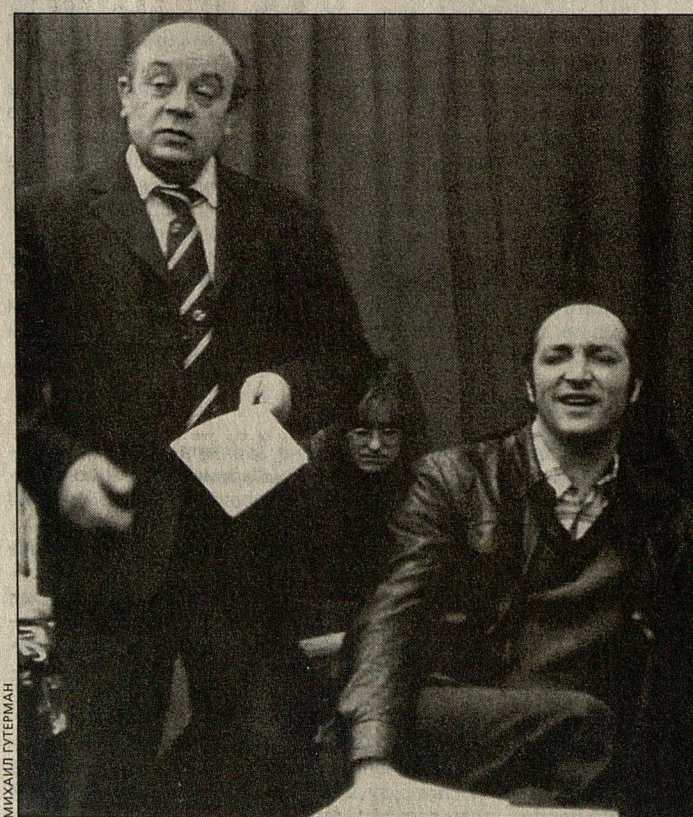
Откуда, откуда вы так точно знали, что я идеалист?

— Да сразу видно. Я бы сказал, что ваш максимализм, принимаемый иногда за вредность, есть производное от идеализма. Идеалисты, с точки зрения обывателя, всегда бывают немножечко вредными.

— Я не вредный. Это просто защитная реакция на жизнь. Она сформировалась от многих скитаний, от бед. Я столько ездил — из провинции в провинцию, из провинции в провинцию. У меня уже защитный панцирь. Это во-первых. А во-вторых, я рожден с ужасным чувством неуверенности в себе. Мне не нравятся мое лицо, мои уши, мои глаза, мои руки. Я ненавижу все это в себе. Наверное, поэтому что мне очень нравился Грегори Пек. Я смотрел «Римские каникулы» и думал: «Господи, как же ведет людям. Такой прекрасный, такой милый человек и так талантлив». Весь мой максимализм — он же на меня и направлен. Я не похож на тех, кого я играл.

— Вы не любите свою профессию, потому что это всегда немного душевный стриптиз. А свою — потому что очень неприятно лезть к людям в душу и обо всем их расспрашивать. Но тем не менее вы продолжаете играть, а я продолжаю работать в газете.

— Да, да, конечно. Вы уже приняли этот путь и, значит, как человек цельный — надеюсь, цельный — должны его продолжать. И я должен. Я артист поневоле. Но я же артист.



Леонид Броневый и Михаил Козаков на одной из репетиций Анатолия Эфроса. Театр на Малой Бронной



Сцена из спектакля «Королевские игры». Театр «Ленком»



Леонид Броневый наконец получил звание народного артиста